

ДЖОЭЛ БЕН ИЗЗИ
ЦАРЬ-ОБОРВАНЕЦ
и секрет счастья



рисунки
РЕЗО ГАБРИАДЗЕ



Джоэл бен Иззи

Царь-оборванец и секрет счастья

Издательство "Livebook/Гаятри"

2003

УДК 82.31
ББК 84.(7)

бен Иззи Д.

Царь-оборванец и секрет счастья / Д. бен Иззи — Издательство
"Livebook/Гаятри" , 2003

ISBN 978-5-907056-23-7

Джоэл бен Иззи – профессиональный артист разговорного жанра и преподаватель сторителлинга. Это он учил сотрудников компаний Facebook, YouTube, Hewlett-Packard и анимационной студии Pixar сказительству – красивому, связному и увлекательному изложению историй. Джоэл не сомневался, что нашел рецепт счастья – жена, чудесные сын и дочка, дело всей жизни... пока однажды не потерял самое ценное для человека его профессии – голос. С помощью своего учителя, бывшего артиста-рассказчика Ленни, он учится видеть всю свою жизнь и судьбу как неповторимую и поучительную историю. Через пять лет после роковой утраты Джоэл бен Иззи записал первую в своей жизни историю о самом себе – «Царь-оборванец и секрет счастья», рассказ о том, как важно никогда не отчаиваться и помнить, что конец одной истории всегда может быть началом другой, новой. Атмосферные иллюстрации к книге создал Резо Габриадзе, легендарный художник, режиссер и сценарист, обладатель премий «Ника», «Триумф» и «Золотая маска».

УДК 82.31
ББК 84.(7)

ISBN 978-5-907056-23-7

© бен Иззи Д., 2003
© Издательство "Livebook/
Гаятри" , 2003

Содержание

Пролог	7
Сбежавшая лошадь	11
Глава 1	13
Сверчок, который допрыгнул до Луны	20
Глава 2	22
Оптимизм и пессимизм	29
Глава 3	32
Конец ознакомительного фрагмента.	34

Джоэл бен Иззи

Царь-оборванец и секрет счастья

First published in the United States under the title: THE BEGGAR KING AND THE SECRET OF HAPPINESS

Jack Riemer's piece on Itzhak Perlman first appeared in the Houston Chronicle, February 10, 1991. Used by permission.

Published by arrangement with Algonquin Books of Chapel Hill, a division of Workman Publishing Company, Inc., New York.

Издательство Livebook глубоко признательно Резо Габриадзе за иллюстрации и Театру марионеток Резо Габриадзе за помощь в подготовке книги к изданию.

Практически все имена собственные в этом издании приведены в соответствии с современными произносительными нормами английского языка. В оформлении обложки использовано изображение ©Matt Elliott/Shutterstock.com

Copyright © Joel ben Izzi, 2003

© Резо Габриадзе, иллюстрации, 2005

© Шаши Мартынова, перевод на русский язык, 2005, 2019

© Livebook Publishing, оформление, 2019

* * *

Посвящается Тали

*В мире историй ничего не потеряется.
Исаак Башевис Зингер*

Пролог Царь-оборванец



Расскажу я вам старую-стародавнюю историю, какая случилась в древнем граде Иерусалиме во дни, когда царствовал Соломон. Он достиг вершины своего могущества и мудростью своею был известен на весь мир. При нем наступил в Иерусалиме золотой век. И был Соломон счастливейшим из людей – и, глядишь, остался бы таким навеки, не приснишь царю странный сон.

Привиделось ему в одну из душных ночей, как двери в его покои распахнулись, и внутрь ворвался прохладный ветер. Мгновенье спустя вошел давно умерший отец его, царь Давид. И заговорил он со своим сыном из потустороннего мира, поведал ему о небесном граде Иерусалиме, равном земному во всем, но с одной лишь разницей – в сердце того города возвышается прекрасный храм.

– И ты, сын мой, должен воздвигнуть сей храм, – Давид описал сооружение во всех подробностях, даже очертания и размеры каждого камня, а Соломон слушал, затаив дыхание. – И последнее, самое главное, – добавил отец Соломона, – ты должен построить его, не применяя металл, ибо металл потребен для оружейного дела войны, а этому быть храмом мира.

– Но, отец, – возразил Соломон, – как буду я тесать камни, не прибегая к металлу?

Не ответил ему отец, но внезапно исчез, и сон оборвался.

На следующее утро царь Соломон созвал своих советников, пересказал им странное видение и огласил замысел постройки храма в точности, как велел отец. И когда сказал им, что желает, чтобы тесали камни для строительства без помощи металла, они пришли в замешательство, как и он сам.

И лишь один, Бенъямин, ближайший советник царя, предложил решение:

– Твой отец однажды говорил о крошечном черве, зовут его Шамир. Хоть и не больше он пшеничного зернышка, но болтают, будто этот червь способен прогрызать даже камень. Тот самый червь, какого Бог дал Моисею, он выточил в камне Десять Заповедей.

– И где же найти его? – спросил Соломон.

– Никто не видел его многие годы, о великий, – Бенъямин примолк. – С тех самых пор, как он попал в руки Асмодея, повелителя демонов.

Свита Соломонова затихла: все знали о могуществе царя демонов. И один лишь Соломон не убоился:

– Раз так, – сказал он, – я призову Асмодея!

Соломон перевел взгляд с лиц своих устрешенных подданных на кольцо, какое носил он на правой руке. Простое золотое кольцо, подаренное отцом и наделенное великой силой: на нем

было начертано тайное имя Бога. Соломон прибежал к его помощи, когда призывал демонов, пусть и меньшей силы. Но никто никогда не призывал великого царя демонов, жившего на краю света, где возвышались медные горы, а небеса над ними висели свинцовые.

Повернул Соломон кольцо, придворные попятились. Внезапно перед тронем возник огненный шар, и, когда пламя погасло, явился всем Асмодей. Потрясенные стояли те, кто узрел его: пяти локтей в высоту был Асмодей, синяя кожа его сверкала на солнце. Куриные ноги, голова ящера и лик осла.

– Ага! Уж не сам ли это царь Соломон? – проговорил он голосом столь же скользким, какой была шкура его. – Великий, премудрый и могучий! И при всем том недоволен он просторами царства своего, надо ему вторгаться и в пределы тьмы. Скажи же мне, о великий, зачем ты призвал меня?

– Желаю получить червя Шамира, чтобы тесал он мне камни для моего храма.

– Всего-то? – спросил Асмодей. – Так вот он! – и показал царю свинцовый ларчик. – Но я требую, чтобы ты взамен освободил меня!

– Нет, – сказал Соломон, – пока нет. Я буду держать тебя в цепях еще семь лет, ибо столько потребно мне, чтобы воздвигнуть храм, дабы не смог ни ты, ни другие демоны помешать мне. Дострою – и задам тебе один вопрос; и, только если ты ответишь мне, отпущу тебя.

– Вопрос от самого Соломона Мудрейшего? – насмешливо произнес Асмодей. – И что же это может быть?

– Я обдумую.

– Хорошо же, – ответил Асмодей, – я подожду.

Пока жил Асмодей во дворце, творилось там странное. Возвращался однажды Соломон с досмотра за работами во храме и увидел, что все колонны во дворце превратились в деревья, кроны усыпаны листвой и спелыми плодами – фигами, апельсинами и гранатами. В другой вечер из-под сводов дворца сыпались дождем золотые монеты, но стоило им коснуться пола, как они тотчас исчезали. По временам доносились сладкие звуки музыки, но прислушаешься к ним – сразу стихают. Асмодей был мастером наваждений, и наваждения эти находил Соломон чарующими – и возмутительными, ибо превосходили они его понимание мира. Всякий раз, когда Соломон обнаруживал, что его снова обвели вокруг пальца, ему казалось, будто в венце его недостает самоцвета. И через семь лет, когда вознесся храм – и безукоризнен он был в каждой мелочи, – обратился Соломон к Асмодею:

– Теперь, как и обещано было тебе, задам я один вопрос, и лишь после того, как ты ответишь на него, – будешь свободен. Все эти годы наблюдал я за наваждениями твоими. Мне, великому судии, полагается различать правду и наваждение. Я спрашиваю тебя: чему ты можешь научить меня в искусстве наваждения?

При этих словах разразился Асмодей диким хохотом, и эхо раскатилось по всему Иерусалиму.

– «Наваждение»! – усмехался он. – Великий премудрый царь, которому только и дел, что мучить демонов, желает узнать о наваждении? Ну нет, о великий! Это немисливо, невозможно... – и тут Асмодей умолк, и ухмылка перекосила его чешуйчатую морду. – Только если пожелаешь ты снять свое кольцо.

– Кольцо? – переспросил Соломон. – Снять? – Соломон глянул на кольцо, вспоминая слова отца: «Пока носишь его, ты защищен. Стоит снять его хоть на миг – и не предсказать, что может случиться».

И возвышался теперь над Соломоном сам Асмодей и насмехался над ним:

– Да, Соломон. Если желаешь постичь, что я знаю о наваждении, придется тебе снять кольцо.

– Об этом и речи быть не может! – отрезал Соломон.

– Пусть так. Но ни слова о наваждении ты никогда от меня не услышишь.

– Но тогда я не освобожу тебя!

– Пусть так. Время для меня ничего не значит – в отличие от царей, демоны живут вечно. Я могу подождать, – он уселся на пол, гремя цепями, и принялся напевать что-то себе под нос.

Сгорая от любопытства услышать Асмодеев ответ, Соломон подумал-подумал и обратился наконец к своим советникам. Все в один голос заявили, что нет ничего хуже для Соломона, чем снять кольцо. Один осмелился даже сказать, что это будет не мудро.

– Не мудро! – воскликнул Соломон. – Ты осмеливаешься говорить мне, что мудро, а что – нет? Мне, великому царю Соломону, известному во всех краях своей мудростью!

Советники притихли, боясь гнева царя не менее, чем самого Асмодее. И все их советы уже были не нужны, ибо Соломон принял решение.

– Я сниму кольцо. Ровно на то время, пока будет звучать твой ответ.

Соломон велел поместить Асмодее в самый дальний угол дворца, окружить демона двадцатью четырьмя стражниками, а сам встал на другом конце.

– Итак, Соломон, – проговорил Асмодей, – снимай кольцо!

Медленно Соломон стянул кольцо с пальца. В первое мгновение ничего не происходило. А затем ветер пронесся по дворцу. Он усиливался, обернулся бурей. Смотрел Соломон и с ужасом видел, что вихрь порожден крыльями Асмодее, и всякий раз, когда взмахивал тот ими, удваивался он в размерах: десять локтей, двадцать, сорок – пока не занял собою все пространство до самого купола, разбив цепи и смехом своим сокрушая оконные переплеты.

– Ты глупец, Соломон! Лучше бы ты не снимал кольца! – Асмодей протянул руку, и вырвал кольцо из рук Соломона, и швырнул его в самое крохотное окошко дворца. Кольцо проплыло в воздухе над Иерусалимом, над далекими холмами, над горами и океанами, и упало на самом дальнем краю земли. – А теперь, Соломон, твой черед! Прощайся со своим царством!

С этими словами Асмодей схватил царя за плечи и швырнул его в окно через весь дворец. Соломон летел над возлюбленным городом своим, над холмами, морями долгие-долгие часы, пока не приземлился в самом сердце бескрайней пустыни.

Там пролежал он сколько-то времени, и ныло у него в теле все, во рту пересохло. И вот встал Соломон и отправился куда глаза глядят, и шел, не разбирая дороги, пока не село солнце и не набрел он на озеро. Он склонился над водой, и от того, что он увидел, сковало его ужасом – увидел Соломон собственное отражение.

Исчез его венец – подарок тварей морских, украшенный всеми мыслимыми самоцветами. Великолепные одеяния, подаренные ему ветром, порваны в клочья, простое тряпье. Лик Соломона, прекраснейший во всем Иерусалиме, – как у изможденного старца.

И вот, потерянный и безвестный, начал Соломон свои скитания. И не вообразить ему было дороги, какую придется одолевая на пути в возлюбленный Иерусалим. Та дорога поведет его далеко и затянется на целую жизнь...

Я не царь Соломон – и на мудрость его не тяну. Мое странствие – путь не царя, а мужа, отца и сказителя. Пусть так – и все же, подобно Соломону, в истории, которую часто рассказываю, меня занесло в такие края, о каких я и помыслить не мог, забросило в жизнь, которую я перестал понимать.

Странствия привели меня в мир историй. Там я узнал о проделках, какие вытворяют истории с нами, поднимаясь из глубин времени, как учат нас уму-разуму, направляют наш путь и даже, если позволить им, – исцеляют. Понял я, и как умеют они морочить нам головы, особенно когда кажется, что уже изучил их вдоль и поперек, как хитро прячут они свою правду на самом видном месте. Я наткнулся на эти истины, усваивая те же уроки, что достались Соломону на его пути, – такие уроки, что можно извлечь только из потерь.

Поделюсь теми истинами, пока буду излагать вам свою историю, а история эта – чистая правда. Но прежде позвольте объяснить, что я подразумеваю под словом «правда». Этим словом я пользуюсь в том же смысле, что и все сказители – что и мой давний наставник Ленни. Он рассказал мне как-то удивительную историю о своем старом рыжем ретривере и о синем «Мустанге-Кабриолете» 1967 года. И я спросил у него, случилось ли все это по правде?

– По правде? – огрызнулся он. – Что ты понимаешь под словом «правда»? Хочешь знать, было ли это на самом деле, слово в слово, точно так, как я рассказал? Не имеет значения. Лучше б спросил, хороша ли эта история, потому что хорошая история и есть правда, случилась она или нет. А паршивая история, пусть бы и случилась в действительности, – ложь. Вопрос не в том, – добавил он с усмешкой, – правдива ли история, а в том, есть ли в ней правда, такая, которая с заглавной буквы «П». И эту загадку способно решить одно лишь время. И все же предупреждаю тебя, Джоэл: не смей становиться тем бараном, какой считает, что, коли умеет он травить байки, стало быть, знает всю их правду. Есть на белом свете байки, которым нужно сперва лет двадцать поболтаться в голове, покуда не раскроют они тебе ту самую, окончательную, скрытую крупицу правды.

Ленни насобирает множество таких крупиц за долгие годы, и они присохли к нему, как крошка к наждаку, что, может, и объясняет его натуру. И все же то его предупреждение всплывает у меня в уме всякий раз, когда б ни произносил я слово «правда».

Засим пора изложить вам мою историю – изложить так, как она, по сути, и произошла, хотя кое-что я все же подправлю, ибо таково наше сказительское дело. И все же, пока вы читаете эту книгу, некоторые повороты в ней покажутся попросту невероятными. Я знаю, так и будет, – они и мне самому в свое время показались как раз такими. И вот эти-то подробности я выдумать не мог бы и оставил как есть. Говорил же Марк Твен: «Правда необычнее вымысла, но это только потому, что вымысел обязан держаться в границах вероятности; правда же – не обязана»¹.

Словом, усаживайтесь поудобнее, и я расскажу вам мою историю о темных временах странствия, в котором я обрел дар, настоящее сокровище. И сокровище это – сама история, которой я теперь делюсь с вами, история о потерянном коне обретенной мудрости, о зарытых кладках и дикой землянике, о царе-оборванце и секрете счастья.

¹ Эпиграф к главе XV книги «По экватору» (1897), дневника путешествий Марка Твена, пер. Э. Кабалевской. – Здесь и далее примеч. переводчика.

Сбежавшая лошадь

Родина истории – Китай



Давным-давно в одной деревне на севере Китая жил-был старик, у которого была превосходная лошадь. И так хороша была та лошадь, что люди издалека приходили поглазеть на нее. Говорили хозяину, какое это благословение – иметь такую лошадь.

– Может, оно и так, – отвечал он, – но даже благословение может быть проклятием.

И вот однажды лошадь убежала. Люди стали сочувствовать старику, говорили, какая его постигла неудача.

– Может, оно и так, – отвечал он, – но даже проклятие может быть благословением.

Пару недель спустя лошадь вернулась. И не одна. Она привела с собой двадцать одну дикую лошадь. По закону края все они стали собственностью старика. Он разбогател лошадьми.

Соседи пришли поздравить его с такой удачей:

– Ты и впрямь благословен!

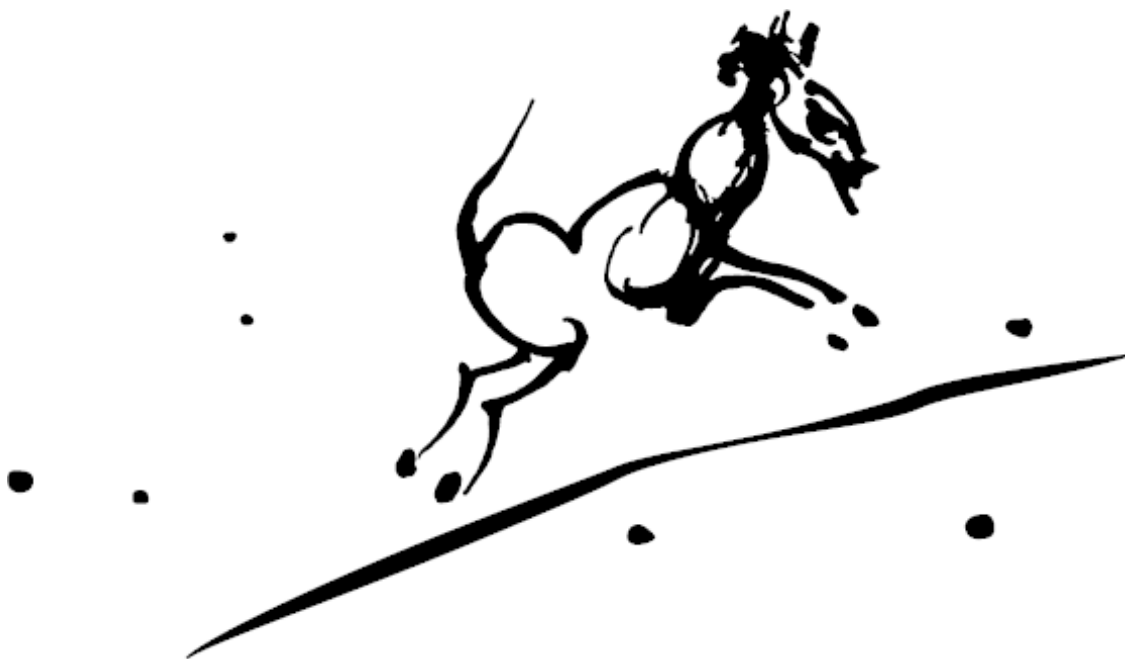
– Может, оно и так, – отвечал он, – но даже благословение может быть проклятием.

И вот несколько дней спустя единственный сын старика попытался объездить одну из тех диких лошадей. Она сбросила его, и сын сломал ногу. Соседи пришли пособолезновать старику. Проклят он, без сомнения.

– Может, оно и так, – отвечал он, – но даже проклятие может быть благословением.

Через неделю по деревне проехал царь – забирал всех здоровых мужчин на войну против северного народа. То была страшная война. Все, кто ушел из той деревни за царем, погибли. И только сын старика уцелел – из-за сломанной ноги.

До сих пор люди в той деревне говорят: «То, что кажется благословением, может быть проклятием. То, что кажется проклятием, может быть благословением».



Глава 1

Сбежавшая лошадь



Как я вообще стал сказителем – отдельная история, сказ о проклятиях, обратившихся благословениями. Уж во всяком случае я не прирожденный в этом деле умелец, хотя знал многих таких. В одном пабе на южной оконечности Ирландии я слушал настоящего *шанахи*², он пел древние баллады с такой мощью, что слушателям казалось, будто ему вторят духи ушедших предков. В иудейском квартале в Иерусалиме познакомился с одним хасидским *магидом*³, тот мог проследить свою родословную аж до ребе Нахмана из Брацлава, великого мистического сказителя XVIII века. А однажды, на северном берегу гавайского Оаху, я выступал на одной сцене с хранительницей пятитысячелетнего наследия сказаний ее предков.

У меня таких регалий нет, и потому при других сказителях я всегда немножко стеснялся. Родился и вырос я вовсе не в волшебном месте – в пригороде пригородов к востоку от Лос-Анджелеса. Там, где жили мои родители, не было ни кинозвезд, ни пляжей – вообще никакой воды в принципе. Более того, в тех местах, насколько мы могли судить, не имелось вообще никакой географии: хоть нам и рассказывали о лиловых горах на севере, их невозможно было разглядеть сквозь смог.

Наша округа называлась Долина Сан-Габриэль – не путать с широко известной Долиной. Наша называлась в народе «Другая Долина» – плоский скучный мир с безнадежно прямыми улицами, ведущими к шоссе во всех направлениях. Эти шоссе вели к другим шоссе, а те, в свою очередь, – к еще каким-то. Насколько я понимал тогда, это и был мир.

Не скажу и того, что вырос в доме, наполненном историями. Если честно, истории требуют времени, а время моих родителей целиком и полностью уходило на то, чтобы удержать наш семейный мир от краха, – жили мы бедно, отцу нездоровилось. Мы принадлежали к низам среднего класса, у отца пошли прахом с десятков начинаний, за какие он брался в попытке удержать нас от дальнейшего падения. Всегда мечтал о лучшей жизни для нашей семьи, и, когда каждый следующий его замысел неизбежно не срабатывал, отец пожимал плечами и отшучивался от потерь какой-нибудь поговоркой. Думаю, этот его излюбленный краткий разговорный жанр мог бы перерасти в нечто большее, если бы не телефон, прерывавший его очередным звонком. Он бросался отвечать, не желая упустить тот самый важный звонок, который уж наверняка сделает нас богатыми, тот самый, что снимет нашу семью с пособия, – тот самый так и не случившийся звонок.

Мама же историй не рассказывала, а скорее ссылалась на них, когда мы ездили по городу. – Вы слышали историю о Хелме? Ну о том самом, еврейском городе дураков?

² Seanachie (ирл.) – сказитель.

³ Магид – «рассказывающий» (проповедник, чаще всего странствующий).

– Нет, не слышали, – отвечали мы с братьями. – Расскажи!

– Хелм... – повторяла она, и в гортанном звуке этого названия сквозила мечтательность. – Вы наверняка о нем слышали. Это в Польше. Там все время идет снег. Замечательные истории!

– Ну расскажи хоть одну!

– Они нам так нравились. Там была одна про то, как хелмцы строили храм, таская бревна на себе вниз с горы. Но из меня плохой рассказчик, – извинялась она. – Ваш дедушка Иззи – вот кто был рассказчик. Мы его часами слушали, бывало.

И она умолкала, а у меня в голове оставался дедушка Иззи, великий рассказчик из далекого Кливленда. Много лет спустя, когда я сам начал рассказывать истории, я взял его имя – Джоэл бен Иззи, что на иврите означает «Джоэл, сын Иззи». Но в те давние времена я и не подозревал обо всем этом. Знал только, что вокруг не хватает чего-то волшебного, один сплошной смог. Мы закрывали все окна в машине, чтобы скрыться от него, и в нашем фургоне воцарялся вакуум, насыщенный нерассказанными историями, пикап продолжал катиться по бескрайним предместьям.

Та самая острая нехватка волшебства и отправила меня на его поиски, и я помню тот день, когда нашел его. Мне исполнилось пять лет. Два моих старших брата были в школе, а я – в супермаркете с мамой. Я видел, до чего она несчастна. Не знал еще, но ей уже сообщили, что моему отцу с его катарактой необходимо опять лечь в больницу на очередную операцию. Хотелось как-то порадовать ее, и я нашел повод – в овощном отделе.

– Мамочка, смотри! – сказал я. – Вон тот баклажан похож на Никсона!

Сходство было и впрямь изумительным – макушка баклажана свисала вниз, как настоящий нос, но куда изумительней было лицо моей матери, озаренное весельем. Как же здорово было рассмешить ее, вытянуть хоть на мгновение из ее несчастий. Всего пара слов – и мрак рассеялся. Я начал собирать шутки и рассказывать их ей в любую подходящую минуту. С отцом тоже срабатывало, и, когда мне удавалось насмешить его, я слышал громкий безудержный смех – смех здорового человека. И тоже начинал смеяться, и в такие мгновения мы с ним бывали по-настоящему близки.

Я стал артистом для собственных родителей, создавал кукольные спектакли и комические репризы. Рассказывал анекдоты и разные истории в больнице отцу и каждый вечер перед сном – маме. Она, усталая от дневных забот, приходила ко мне в комнату и усаживалась на край кровати.

– Джоэл, расскажи что-нибудь.

Я понятия не имел, что обрел дело всей жизни. Но точно знал, что обожаю рассказывать истории своей матери. Говорил ей о мире далеко за пределами известного нам, о землях, не укрытых смогом, где бедняки богатели, а больные – выздоравливали. С каждой следующей историей тот мир делался мне все ближе и подлиннее, я видел его отражение в маминых глазах. И знал, что однажды я в этот мир удеру.

Еврейская культура богата на проклятия: «Чтоб ты рос, как лук, – головой в землю, задницей вверх». «Чтоб ты жил, как канделябр, – днем висел, ночью горел». «Чтоб у тебя сгнили и выпали все зубы разом, кроме одного, и чтоб тот болел адски». Но из всех проклятий, какие мне довелось слышать, самое странное, пожалуй, вот это: «Чтоб ты зарабатывал на жизнь тем, что любишь делать». И впрямь оно вовсе не похоже на проклятие – скорее, как название какой-нибудь хорошо продаваемой здесь, в Беркли, книги жанра «помоги себе сам». Но, как ни удивительно, со временем я разгадал эту загадку, проведя долгие годы в попытке обратить свою любовь к сказительству в источник дохода. «Странствующий сказитель» – не то чтобы карьер-идеал, и я не раз был готов ее забросить. Под проливным дождем, без крыши над головой, без денег и без работы в Манчестере. Больной вдрызг, неспособный работать – в Тель-Авиве. Без гроша в кармане и смертельно уставший – в токийском метро, в раздумьях, какого дьявола

я всем этим занимаюсь. И в такие минуты тихий голос у меня в голове говорил: «Да, господи, Джоэл, чего бы тебе не найти нормальную работу, что-нибудь такое, за что платят? Может, в юридическую школу подашься?» Не родительский то был голос, нет, – как раз наоборот, они-то обожали мои байки и восхищались тем, что я взялся воплотить свою мечту. Нет, то был попросту голос разума.

Вновь и вновь упирался, спотыкался я и скатывался на самое дно, и, когда мне казалось, что хуже уже не бывает, жизнь доказывала обратное. Но даже когда щупальца неприятностей стискивали меня всерьез, всегда что-то возникало – обычно очередной ангажемент. И, когда я приезжал выступать, мне было что рассказать. В этом и есть прелесть моей профессии – все, что не могло добить меня, становилось байкой, потому что, пока истории рассказываются, все идет хорошо.

Я сделал это открытие, и работа поперла – и я даже обнаружил, что готов заняться вплотную следующей своей мечтой, такой близкой моему сердцу, что я почти не давал себе о ней думать. Я женюсь на замечательной женщине и заведу семью. Наши отпрыски будут наслаждаться детством, предельно отличным от моего, – со здоровыми родителями и деньгами в банке, подальше от знакомых мне предместий. Дети вырастут в доме, наполненном волшебством, смехом – и историями.

Замечательная женщина появилась однажды на одной вечеринке, где я выступал с историями. Влюбился я сразу же, как только ее увидел. Заметно было, что и я ей понравился. Но у нее были свои мечты, и ни в одной ей не пригрезилось, что она связывает свою судьбу с бродячим сказителем. Это было ясно из первых же ее слов:

– И кем же вы на самом деле работаете?

Ее звали Тали, и завоевать ее стоило мне трех лет – и всего, чем я располагал. Дело тут не только в моем неожиданном выборе стези: каким бы ни был я властителем толп, в близких отношениях оказался никудышным. Джоан Баэз выразила это лучше не придумаешь: «Мне проще всего общаться с десятью тысячами. Сложнее всего – с одним». Как очень многие мужчины, я понятия не имел, как говорить о своих чувствах. За три года выучился премудрости быть рядом с другим человеком – не со своим зрителем, а с подругой и спутницей. Мы превратили наше притяжение в совместную жизнь.

Поначалу было непросто. Любой женатый знает, что это настоящий труд. Но мы вложились в наши отношения, и пока вкладывались, наша любовь крепла. Мы обосновались в столетнем деревянном домике, затерянном в холмах позади студгородка Университета Беркли. И случилось все, как раз когда мы сидели на заднем крылечке чудным весенним вечером, наблюдая, как наши сын и дочь пытаются собрать граблями прошлогодние дубовые листья, завалившие наш сад по осени. Только-только распустились первые фрезии, и воздух наполнился ароматом их желтых цветков. Я огляделся, глубоко вздохнул и внезапно понял – свершилось. И именно в тот момент я прошептал:

– Теперь я совершенно счастлив.

Вряд ли даже Тали меня услышала. Услышала б – трижды сплонула бы, в дань еврейской традиции, чтобы не сглазить. Но меня в тот момент не волновал ни дурной глаз, ни вообще что бы то ни было. Нет моему счастью пределов, считал я. Натяну серую свою федору – и любое проклятие обращу в благословение.

Мне, видите ли, казалось, что я нашел секрет счастья. И я собирался быть счастливым долго-долго.

«Хочешь повеселить Господа – расскажи Ему о своих планах», – говаривал мой отец. Его любимая присказка на идиш, тысячу раз ее слышал, не меньше. Но все равно явно что-то не улавливал. Иначе не сглупил бы – не стал бы заявлять о своем счастье.

Наутро после моего заявления случилось такое, что Господь счел подходящим поводом для веселья. Был Пурим – очень подходящий день, когда евреи празднуют финты и фортели судьбы. История этого праздника гласит, что один злодей собрался поубивать всех евреев, но упустил из виду, что царица была иудейкой. В финале он встречает свою смерть в той же яме, которую рыл для других, а все остальные празднуют и веселятся. В этом смысле это классический еврейский праздник: «Они пытались убить нас. Не вышло. Давайте кушать!»

Я проснулся утром от причудливого сна, в котором спустился по лестнице у нас в доме, оторвал от пола пианино, поднял его высоко над головой и уронил прямо на большой палец правой ноги. Но что самое удивительное: пробудился я и увидел, что палец вроде бы опух и пульсирует от потрясающей боли.

– Позвонил бы ты врачу, – сказала Тали, глянув на мой палец.

– Брось. Ерунда это.

– Джоэл, это не ерунда. Ты посмотри на это! Господи, да он того и гляди лопнет, кажется! Звони врачу.

– Ерунда.

Я всегда избегал врачей, насмотревшись предостаточно, как они свели моего отца на тот свет. Тали же, напротив, живет под девизом: «Рак – пока не доказано обратное». В результате она частенько навещает медиков и практически всегда является домой с хорошими новостями.

– Джоэл, ты позвонишь врачу? – вновь спросила она за завтраком, пока я приканчивал овсянку.

– Слушай, ерунда же. Пройдет.

– Ты еле ходишь! Как ты будешь выступать в таком виде? – спросила она чуть позже, когда я уже был одной ногой на крыльце со своей сказительской сумкой в одной руке и кучей костюмов к Пуриму – в другой, опаздывая на первый из трех заявленных концертов.

– Да запросто. Я буду рассказывать им истории о Гиллеле. (Гиллель был великим иудейским ученым, которого как-то попросили на спор объяснить все учение Торы, стоя при этом на одной ноге. Гиллель сказал: «Поступай с другими так, как хотел бы, чтобы поступили с тобой. Все остальное – комментарии».)

Тали на эту отговорку не купилась. Вздохнув, я снял шляпу, сложил костюмы и встал на обе ноги, показывая, что я в полном порядке.

Но, прежде чем она могла возразить, моя двухгодовалая дочка Микейла сделала это за нее. Она подбежала, чтобы обнять меня перед выходом, и прыгнула прямо мне на палец. Я взвыл от боли и осел на пол. Тали помогла мне встать и тут же вручила телефон.

Медсестра выслушала мой рассказ и, недолго думая, поставила мне диагноз:

– Подагра.

– Подагра?

– Подагра, – повторила она, – в народе называется «болезнь богатеев».

– Я знаю, как она называется. У моего отца было то же самое.

В созвездии его болезней подагра всегда казалась мне особенной несправедливостью как раз из-за этого прозвища. Болезнь из другой эпохи, хворь состоятельных государственных мужей в колониальный век, в те времена, когда с ней ничего нельзя было поделать – лишь подкладывать подушки и жаловаться на короля Георга. От медсестры я узнал, что в наши благословенные дни существует таблетка, которой будет достаточно, чтобы изгнать подагру в считанные часы. Она договорилась с лечащим врачом о рецепте, отправила его по факсу в аптеку и записала меня на контрольный прием. Я принял лекарство, и, как и было обещано, подагра исчезла так же скоро, как и возникла. С тех пор и не беспокоила меня ни разу.

О подагре я не вспоминал ни на миг вплоть до июня, пока не оказался на том самом предписанном приеме у врача. Уселся на покрытую бумажной простышкой кушетку, улыбаясь врачу, врач улыбнулся в ответ. Вкрадчивый араб в роговых очках, и звали его, согласно мно-

гочисленным дипломам на стенах, Измаил. Он мне понравился вопреки моей предубежденности против врачей. Много часов провел я, попивая мятный чай и рассуждая на философские темы с арабскими торговцами на базаре в Иерусалиме, и кабинет Измаила напомнил мне те дни – разница только в том, что в его приемной вместо безделушек и ковров лежали брошюры «Вы и ваша простата». Поскольку ни он, ни я не понимали, что я здесь делаю, он отправился к своему компьютеру и проверил мои медицинские записи.

– Подагра? – проговорил он. – У вас подагра?

– У меня *была* подагра. Однажды. В марте. Длилась один день, – как только Измаил взялся за медицинские вопросы, я заерзал. То же самое обычно случалось на базаре, когда неизбежно заходил разговор о коврах.

– Ну раз уж вы здесь, давайте я вас осматрю, – и он начал ощупывать мне шею.

– По-моему, это не палец на ноге, – сказал я – Но вы врач, вам виднее.

Рука у него была теплая.

– С вашей ногой делать нечего. Подагра ушла. Но я эндокринолог. Моя специальность – шеи.

– Хорошо еще, что вы не проктолог, – мысль о медосмотре нервировала меня, и я начал шутить. – Скажите, можно звать вас Измаилом?⁴

– Зовите, как вам нравится, – ответил он.

Он замер в одном месте и начал трогать чуть глубже, глядя в сторону, сосредоточившись на том, что пытался прощупать.

– Вам известно, что у вас есть небольшая шишка на горле?

– У меня масса шишек на горле. Оно так устроено.

– Но у вас тут лишняя шишка, ее быть не должно.

– Я сам тут не должен быть, доктор, подагра прошла...

Я прекратил вещать, когда он открыл шкафчик и вытащил поддон с медицинским оборудованием, выглядевшим как набор для фильма ужасов.

– В вашем возрасте и при вашем общем самочувствии вероятность того, что есть повод для беспокойства, – один из тысячи, – сказал Измаил. – Но я тем не менее взял бы пробу. Чтобы ни о чем потом не волноваться.

Он показал мне иглу размером с кулинарную спринцовку.

– Вот это и есть «не волноваться»?

Существуют слова, к которым жизнь тебя совсем не готовит, к примеру, такие: «У вас рак».

Я наслушался предостаточно об этой болезни, еще ребенком, когда она приключалась с друзьями семьи или с родней. Взрослые рассуждали о ней вполголоса, и чем тише они говорили, тем настойчивее я прислушивался. Я заметил, что опухоли у женщин обсуждались во фруктовых понятиях, а мужские – в спортивных.

– Вы слышали о кузине Сэди? У нее было размером с апельсин!

– Не может быть!

– А помните того приятного мужчину, мистера Фридмана, из обувного? У него прямо в желудке – с бейсбольный мяч.

– Ой! Прямо как у моей тети Сони – с папайю!

Но рак – всегда чья-то чужая болезнь, старческая, она бывает у по-настоящему больных людей, прости господи. Мне было тридцать семь, я прекрасно себя чувствовал, а потому в моем воображении в тот жаркий июльский день, как раз в пятилетний юбилей моего сына, такая

⁴ Отсылка к первой фразе романа Германа Мелвилла «Моби Дик, или Белый кит»: «Зовите меня Измаил».

вероятность и не мелькала. Я только что воткнул пятую свечку в пирог и собирался добавить еще одну – на удачу, как зазвонил телефон.

– Я сниму! – сказал я, слизывая шоколадную глазурь с пальцев.

– Пусть запишут на автоответчик, – прокричала Тали из соседней комнаты.

– Но это, наверное, моя мама, – сказал я, берясь за трубку. – Илайджа, помнишь, у бабушки Глэдис не все в порядке со слухом, так что говори громко и внятно. Ладно?

– Джоэл? – это был Измаил. – У меня новости. Похоже, вы тот самый единственный из тысячи.

Он проговорил несколько минут, но я воспринял только отдельные разрозненные слова: «папиллярный рак щитовидной железы», «частичная или полная тиреоидэктомия», «пять лет, вероятность выживания после болезни...».

Тали зажгла свечи и махала мне рукой, чтобы я заканчивал разговор. И тут разглядела выражение моего лица.

– Что случилось?

Я вперил в нее пустой взгляд, пытаюсь подобрать что-нибудь вместо слова «рак». В конце концов я просто отмел ее вопрос:

– Ничего особенного. Все будет в порядке. Давай-давай, пока свечи совсем не догорели.

Той ночью я уложил детей и, как обычно, рассказал им на ночь историю. Потом спустился вниз, где Тали уже ждала меня, меряя шагами комнату.

– Джоэл, что случилось?

Мне подумалось, что лучше всего такие новости преподносить с юмором.

– Помнишь строчку из «Когда Хэрри встретил Сэлли?», где Билли Кристэл поет: «Не волнуйся, это просто суточная опухоль»?

Она побледнела:

– Опухоль? Рак? У тебя рак?

– Ну маленький такой. Рак щитовидки. Но врач сказал, что уж если рак, то лучше всего вот такой.

Она выглядела ошарашенной:

– Лучший рак? Что ты городишь?

Я поискал в голове объяснение, но слова не шли. Глядя ей в глаза, я видел там ужас, но Тали попыталась как-то успокоить меня.

– Все будет хорошо, – говорила она, кивая. – Правда?

Я кивнул в ответ.

– Это же лечится, правда? – рак был ее старейшим страхом. – У тебя все будет хорошо. И у нас все будет хорошо. Правда?

– Правда, – заверил ее я, вновь обретая равновесие. – Просто помеха на радаре, не более того.

Всплывать из глубин общего наркоза – все равно что пробуждаться после долгого перелета. Некоторое время я просто лежал с закрытыми глазами, без малейшего понятия, где я нахожусь, – ничего, кроме странной потерянности и предвкушения, какое бывает перед началом приключения. Все еще крепко зажмурившись, я размышлял, где это я – в Будапеште? В Катманду? В Шанхае? Открыв глаза, увидел вокруг себя медицинскую аппаратуру, к моим венам на руках тянулись трубки; боль во всем теле.

– Вот тебе и приключение, – начал я было. Умолк. Что-то не то. Попробовал еще раз: – Вот тебе и... – ни звука.

Я пробовал и пробовал хоть что-нибудь сказать. Попытался позвать Тали. Меня захлестнула волна паники, заколотилось сердце. И только тогда осознал я, что же произошло. Я часто

видел нечто похожее во сне: вдруг я терял способность говорить. Обычно такое мне виделось как раз перед большим концертом. Я видел, как стою перед огромной аудиторией и пытаюсь начать рассказывать, но с губ не срывается ни единого звука.

Какое облегчение. Это просто страшный сон, вот и все. Я пытался вспомнить, что мне предстоял за концерт, но не мог. А потому оставалось дожидаться конца этого кошмара.

До меня долетали одни лишь больничные звуки. Болтали медсестры, попискивали аппараты, кто-то ходил по коридору. Раз в пару минут я пытался заговорить. Вылетал из меня один лишь воздух. И только с первыми лучами солнца, пробившимися сквозь занавеску, я понял, что не сплю. Я совершенно проснулся, но так и не мог заговорить.

Моя лошадь убежала.

Сверчок, который допрыгнул до Луны

Родина истории – США



Однажды, когда мир был еще юн, жил-был сверчок, мечтавший допрыгнуть до Луны. Ему больше всего хотелось взглянуть на Землю с неба. Ночь за ночью сверчок прыгал изо всех сил, иногда доставая до нижних веток деревьев, а бывало – даже до верхних. Но никак не удавалось даже приблизиться к Луне.

Другие сверчки, жившие в той же долине, насмехались над этой дурацкой затеей:

– До Луны? – хихикали они. – Чушь. Невозможно.

Но он упрямо продолжал прыгать. От многих неудачных приземлений коленки у сверчка постепенно ослабли. И вот однажды он больше не смог ни прыгать, ни даже исполнять свои вечерние песни. Другие сверчки рассказывали друг другу анекдоты о нем. Но он все равно не бросал попыток, забираясь ползком по деревьям, – до самого дня своей смерти.

И даже после шутки о нем продолжали ходить в сверчковом народе. Их досочиняли, придумывали к ним продолжения, и со временем они превратились в целые истории. Их передавали из поколения в поколение, и истории эти вплелись в песни сверчков.

До сих пор можно расслышать, как они поют о его приключениях.

– Смотрите, – говорят родители-сверчки своим отпрыскам, – вон он! Вон там видно его лицо, в тених на Луне, он приглядывает за нами.

Так, много лет спустя, мечта сверчка сбылась.



Глава 2

Сверчок, который допрыгнул до Луны



Мой отец потратил всю жизнь, гоняясь за мечтами. Теперь, задним числом, я вижу, что его мечты были ему и благословением, и проклятием. Благословением – потому что давали силы двигаться дальше, невзирая ни на какие невзгоды, и проклятием, потому что ни одной не суждено было сбыться.

Несчетными ночами грезилось ему, что вот, наконец, добьется он своего – воплотит какую-нибудь баснословную аферу «богатеи-за-минуту», или вернет себе здоровье при помощи чудотворного эликсира, или какое-нибудь затейливое изобретение принесет ему славу, благополучие и, главное, то, чего он желал больше всего на свете, – счастье. Но опять и опять просыпался отец и обнаруживал, что все надежды утекли сквозь его искореженные пальцы. И, как всегда, он отвечал на горести и муки жизни смехом.

– Ну что ты будешь делать? – приговаривал он. – Хочешь повеселить Бога – расскажи Ему о своих планах, – для пущей убедительности отец обращал взоры к небу, воздевал руки и пожимал плечами. Я тоже смотрел вверх, а потом опять на отцовы руки. Они поражали мое воображение и наводили ужас: распухшие костяшки, похожие на детские игрушечные шарики, пальцы, скрюченные как совиные когти.

Было время, когда эти руки выглядели иначе. Когда-то, еще до моего рождения, они были гибкими и проворными: одна танцевала вдоль грифа скрипки, другая нежно удерживала смычок. Именно так папины пальцы выглядели на фотографии, где отец возвышался в белом смокинге и черных брюках, со скрипкой у подбородка, в вечер своего дебюта с Кливлендским симфоническим оркестром.

Артрит впервые дал о себе знать, когда отцу было двадцать с небольшим. Представляю, как незаметно подкрался он поначалу, и отцовы пальцы стали двигаться по струнам едва ощутимо медленнее. Он, должно быть, услышал это в своей музыке еще до того, как разглядел на руках. Врачи позже назовут это «анкилозный спондилит» – редкая форма заболевания, которое сплавляет позвоночник в единую кость. За те двадцать пять лет, что я знал его, когда-то высокое стройное тело отца изогнулось и превратилось в вопросительный знак.

Я никогда не слышал, как он играет на скрипке: когда я родился, от многообещающей карьеры остался лишь сам инструмент. Все мое детство он пролежал в футляре на каминной полке в гостиной. Втроем с братьями мы по-очередно пытались играть на нем, но задатков не нашлось ни у одного. Клали скрипку на место, и она лежала, собирая пыль, до самой смерти отца.

Ребенком я не понимал папиной болезни, не понимал, почему я становлюсь все выше, а он все укорачивается. После каждой поездки в больницу он возвращался все менее ходячим –

сначала передвигался с тростью, потом ходил в корсете, а дальше – уже на костылях. Перемещался он так медленно, что на это было больно смотреть. Но, как и ко всем прочим житейским невзгодам, он и к этой относился со смехом.

– Вы же знаете, шмель не может летать, – заявил он, когда в очередной раз вернулся из больницы – теперь уже на костылях. – Это сущая правда. Законы аэродинамики показывают, что размах его крыльев недостаточен, чтобы удерживать в воздухе вес его тела. Но вот что хорошо: шмель этим законам не подчиняется – все равно летает!

У моего отца в запасе были десятки подобных присказок, мудростей, которые достались по наследству нам с братьями. Отец произносил их всякий раз, когда спотыкался об очередную неудачу, а затем продолжал погоню за следующей мечтой.

После того как отец перестал играть на скрипке, он стал изобретателем и вливал все наши семейные сбережения во всякие свои затеи. В конце 60-х он вложился в дело, за которым, по его мнению, виделось большое будущее, – светящиеся в темноте пластмассы и краски. Как и все прочие остатки его изобретений, они заполонили дом. Они светились по ночам – кляксы краски по всему потолку, словно звезды небесные. В этом был весь мой отец – богач в мире грез, бедняк при свете дня.

– Ты же знаешь, как говорится? – спросил он меня однажды. – Хочешь повеселить Бога...

– ...расскажи Ему о своих планах, – прилежно отзывался я, передавая ему кирпич. Я сидел на краю его кровати, а он – на раскладном стульчике на пороге ванной, привязанный к своему очередному изобретению. Это было приспособление, призванное поправить ему спину: веревка, перекинутая через перекладину на высоте подбородка, с шейной скобкой от корсета на одном конце и кастрюлей – на другом. Моя работа заключалась в том, чтобы подавать ему кирпичи. Каждый раз, когда я закладывал очередной кирпич в кастрюлю, отец кривился от боли, но заставлял себя улыбаться, хотя вид у него был такой, что всем вокруг казалось, будто он собрался вешаться.

– Я вот не понимаю, – произнес я, – ты говоришь, что Бог веселится всякий раз, когда случается что-нибудь плохое. Почему? Что тут смешного?

Он остановился на минуту, кирпич завис в воздухе.

– Тебе интересно почему?

Я кивнул.

Он пожал плечами, кастрюля с кирпичами заскакала на веревке.

– Не знаю. Ты бы спросил кого-нибудь помудрее меня. Но точно я знаю одно. В жизни всегда есть выбор. Можно веселиться с Богом или рыдать в одиночку. Так и что же ты будешь делать?

Так я научился смеяться вместе с отцом.

Проходили недели, голос у меня все не прорезывался, и я все больше и больше размышлял об отце. Старался вспомнить его смех и не думать о его пальцах. Между нами была разница, говорил я себе: его телесная немощь была навсегда, а моя – лишь на время.

Вот что думал про это мой врач.

– Все дело в голосовом нерве, – говорил он, вслушиваясь в мой тихий, сиплый шепот. – Должно быть, он все еще парализован. Но я бы не стал волноваться по этому поводу. Обычно все восстанавливается. Потерпите пару недель, ну месяц, в крайнем случае. Два – в самом крайнем.

Именно так Тали и объяснила все это детям в день, когда я вернулся из больницы: временная потеря голоса.

– Илайджа, Микейла, слушайте сюда, – сказала она.

Дети не снизошли – они радостно повисли у меня на ногах и забросали вопросами:

– Больно было? Они тебе вырезали ту штуковину из горла? Дашь поглядеть? Ты ничего не боялся? Расскажи!

– Дети, – еще раз попыталась Тали, – мне нужно кое-что сказать вам. Кое-что важное, – они наконец отцепились от меня и взглянули на нее. – Папа не может разговаривать.

На лице у Микейлы возникло изумление, а Илайджа выглядел так, будто его предали, и качал головой.

– Может-может, – проговорил он. – Он все время разговаривает. Правда, пап?

Сын ждал от меня подтверждения. Я кивнул Тали.

– Нет, – сказала она, – боюсь, не может. Вава у него зажила, и это главное. Но он пока не может говорить. Но это пройдет, правда, Джоэл?

Я кивнул.

– Когда, папа? – спросила Микейла.

– Скоро, – ответила Тали за меня, – но мы не знаем, когда именно. А пока ему нужно беречь голос, и можно только шептать – и то по чуть-чуть.

– А когда голос вернется, ты нам расскажешь всякие истории, да? – спросил Илайджа.

Я не смог удержаться:

– Много... много... историй.

Дети не знали, что делать с почти немым отцом. Поначалу Микейле это казалось потешным: такой вот непрерывный спектакль – из-за странного импровизированного языка жестов, который я использовал, чтобы хоть как-то общаться с ней. Переходил на шепот, только когда это было совершенно необходимо, отчасти оттого, что любое усилие обжигало мне горло, а еще потому, что всякий раз дочка морщилась и качала головой.

– Папа, говори громче! – просила она.

Для Илайджи мой отсутствующий голос означал новое занятие. Когда я был с Тали, она говорила за меня. Но поскольку теперь она, чтобы возместить семье хотя бы часть моего утраченного дохода, работала сверхурочно, моим голосом стал Илайджа. Мой шепот заглушался любым внешним шумом – звуками проезжавшего мимо автомобиля, музыкой или пролетающим самолетом, – сын ходил со мной за покупками. Когда мне было нужно что-нибудь сказать, я шептал слова ему на ухо, потом поднимал его повыше, и он повторял громче:

– Папа хочет сдачу с двадцати долларов.

Сначала нас обоих развлекала эта новая игра. Хорошо, думал я, укрепление отцовско-сыновней связи, новое приключение. Илайджа прилежно делал свое дело, но со временем я начал замечать, что всеобщее внимание посторонних стало для него обременительным. Он и всегда-то был застенчив, а тут начал прятаться от продавцов в магазинах, от зеленщиков, банковских служащих – от всех, кто без конца повторял, какой он милый мальчуган. Один даже спросил, не чревовещатель ли я. Илайджа выдержал это стоически, но я видел, как он смутился – даже не за себя, а за меня. Почувствовав это, я старался говорить громче, когда мог, но мой шепот все только портил. Илайдже не хотелось, чтобы люди думали, будто со мной что-то не так.

На публике нам было непросто, а когда мы оставались с ним наедине, делалось еще труднее. Илайджа как раз вошел в возраст бесконечных вопросов, когда мир представляется одной сплошной загадкой, а родители – знатоками всех ответов. Я так ждал этого момента с самого его рождения. И вот теперь, когда вопросы возникли, я силился на них отвечать.

– Пап, почему на валлийском флаге дракон? Или, может, это гриф? А в чем разница? Это миф такой? Ты мне рассказывал про тролля. Где живут тролли? Ты говоришь по-французски? Как устроено время? Что такое «чревовещатель»? Почему ты не можешь говорить?

В ответ на каждый вопрос я выжимал из себя пару слов, а остальное пытался восполнить с помощью жестов. Рисовал на салфетках. Вытаскивал с полки книги и тыкал в картинки. Сын с благодарностью кивал, а минуту спустя задавал следующий вопрос, и все начиналось сначала.

Через месяц после операции Тали снова забеспокоилась. Она старалась скрывать это, особенно при детях, но по утрам, когда мы просыпались, ее волнение давало о себе знать.

– Ты чувствуешь что-нибудь? Дергает?

Доктор сказал, что перед тем, как голосовой нерв вернется к жизни, может слегка покалывать или дергать.

Я качал головой.

– А сейчас? – спрашивала она пять минут погодя.

– Не волнуйся, – шептал я, – все... будет... хорошо, – шеплым шепотом я мог выдавать слова по одному-два, с передышками.

– Но я все равно волнуюсь. Волнуюсь за тебя. Что, если голос совсем не вернется?

– Мой отец... говаривал... что девяносто... пять процентов... – я перевел дух. Собрался повторить одну его шутку, что девяносто пять процентов того, о чем мы волнуемся, никогда не случается, а значит, беспокойство – эффективное средство против неприятностей. Но в этот раз с шуткой я промазал.

– Да, – сказала она, – я как раз думала о твоём отце.

Она больше не произнесла ни слова, но мы прожили вместе уже достаточно, договаривать и не обязательно. Хотя Тали никогда не видела моего отца, она достаточно наслушалась о его жизни и считала, что та – худший сценарий для моей.

Я часто думал об отце, особенно об одной истории – об анекдоте, который он обожал: человек идет к портному, чтобы заказать себе костюм. Портной снимает с него мерки и приглашает зайти через неделю. Но когда человек заходит за костюмом, оказывается, что сидит тот на нем просто ужасно.

– Что это такое? – спрашивает человек. – Этот рукав длинен, тот – короток. А брюки в обlipку с этой стороны и висят мешком с другой!

– Не надо нервничать, – говорит портной, – костюм хорош. Взгляните.

Он ведет человека к зеркалу.

– Отставьте правое плечо назад, вот так. Голову набок. Порядок. Наклонитесь-ка вот эдак, левую ногу вперед... Идеально!

– Хорошо, – говорит человек, скрючившись перед зеркалом, – да, теперь вижу. Неплохо смотрится.

Он отступает назад и выбирается из лавки на улицу, где две женщины замечают его странную походку.

– Господи, – говорит одна, – что это с ним случилось?

– Не знаю, – отвечает другая, – зато как сидит костюм!

Эту историю я слышал от отца не раз и не два. Он особенно любил обыгрывать роль заказчика, а мне нравилось смотреть на него, пока однажды, когда мне было пятнадцать, я не осознал, что его тело выглядит одинаково – и в жизни, и во время этой игры. Он сам стал тем самым человеком в костюме. И это касалось не только его тела – вся его жизнь скрючилась так, чтобы не видеть никаких потерь.

Чем ближе подбиралась к нему смерть, тем живее делалось его видение успеха. В один из моих последних визитов к нему в доме престарелых он подозвал меня поближе и указал на шкаф.

– Видишь тех троих, наверху? – прошептал он. – Это турецкие торговцы кофе. И мы только что ударили по рукам – по-крупному! Но не на кофе, а на сыр! Мы теперь богаты! Но ты никому не рассказывай...

Я кивнул – потому что любил его таким, какой он есть. Но, невзирая на это, я дал себе два обета. Первый – никогда не позволять себе иллюзий по поводу собственного успеха. Второе – преуспеть во что бы то ни стало.

Между мной и моим счастьем, решил я, – один лишь мой утраченный голос. Вечерами, когда Тали и дети укладывались спать, я спускался к себе в кабинет – замечательную, обитую деревом комнату, мое давнее убежище. Я населил ее куклами и масками, которые насобирав за время странствий по свету, а на одной стене повесил огромную карту мира, и на ней цветными кнопками и нитками помечал места, где мне доводилось бывать, и истории, которые я там добыл. По ночам в комнате было тихо, и в этой тишине сидел я, ожидая возвращения голоса.

По временам я представлял, как энергия струится по моему горлу и нерв внезапно возвращается к жизни.

Как раз в такой вечер, пока я сидел в задумчивости, убежденный, что нахожусь в шаге от успеха, зазвонил телефон. Я подскочил и чуть не бросился снимать трубку, но успел спохватиться и поморщился, вновь слыша обращение на автоответчике, которое записал много месяцев назад: «Привет. Это Джоэл. Сейчас у меня не получится с вами поговорить. Как только смогу – перезвоню». Гудок.

Я подождал, пока прозвучит голос звонящего, и был готов услышать желающего заплатить мне за то, что я не в силах сделать.

– Привет, Джоэл! Мы большие ваши поклонники из Сан-Франциско. Послушайте, у нас тут скоро бар-мицва, в следующем месяце, мы мутим огромную вечеринку. Будут ди-джей и фокусник, а вы у нас – вишенка на торте. Понимаю, что для вас это мелочи, но все же назовите цену...

Автоответчик отключился, и я присел в его отзвуках и уставился на карту. Не хотелось даже думать ни о деньгах, которые я упущу с этого приглашения, – да и о деньгах за все уже отмененные концерты. Поскольку все мое будущее оказалось под вопросом, я задумался над прошлым. Взгляд заскользил вдоль нитки, от одной кнопки к другой. Будапешт. Гонконг. Рим. Стоило взглянуть на любую кнопку – и каждый город оживал, наполненный людьми, запахами, вкусами и звуками, напоминал мне об историях, которые я рассказывал и так любил. Те истории вели меня все дальше и дальше назад, кругами, сквозь годы, к тому самому дню, когда недалеко от Беркли, сразу под Санта-Крузом, отмеченным кнопкой с ярко-желтой головкой, началась моя карьера.

Любой сказитель помнит того самого рассказчика, у которого впервые разжился вдохновением. В сказительских кругах такого человека зовут уткой-наседкой начинающего рассказчика. Моей «уткой-наседкой» стал Ленни.

Я впервые услышал, как он рассказывает истории, однажды в пабе, чуть ли не двадцать лет назад, в центре Санта-Круза. Увидел анонс на двери и зашел, понятия не имея, что меня ждет. Ленни стоял один, в тишине, на сцене в углу. Выглядел он не то чтобы впечатляюще: довольно коренастый, бородастый, косматый. На сказителя он был похож не больше кого угодно в этом баре.

Но стоило ему открыть рот, как все изменилось. В зале воцарилась полная тишина, а меня унесло сначала в полуразрушенный замок в шотландских нагорьях, затем в школьное здание в Новой Англии, а следом – в крошечную деревню в Восточной Европе. Там я встретился с героями и влюбился в них, и, хотя жили они лишь в словах Ленни, мне они показались даже более настоящими, чем многие мои личные знакомцы. Я ушел в самом конце вечера, уже тоскуя по местам, где никогда не был, скучая по людям, которых не знал, и не сомневался, что обрел дело всей жизни.

На следующий день я разузнал, где он живет, покатил на велосипеде за десять миль через лес к его хижине и там принялся умолять Ленни стать моим учителем.

– Ты? – он рассмеялся так, словно я рассказал ему анекдот. – Да ты же пацан еще! Хотя понимаешь, *зачем* хочешь рассказывать истории?

Я пожал плечами, замечая кое-что, ускользнувшее от меня прошлой ночью. Разговаривая, Ленни жестикулировал только правой рукой.

Он покачал головой и опять хохотнул:

– Ты вроде того парня, который идет к раввину изучать Талмуд. Знаешь эту историю?

Нет, я не знал.

– Юноша просит раввина научить его мудрости Талмуда. Ребе отвечает юноше, что тот не готов. Юноша настаивает, и ребе решает его проверить. «Два вора лезут по печной трубе, чтобы ограбить дом, – говорит ребе. – Один пачкает себе лицо, а у другого оно остается чистым. Который из них умоется?» – «Тот, который испачкался, конечно», – отвечает юноша. – «Нет. Тот, у которого чистое лицо. Потому что он глядит на того, который испачкался, и решает, что у него лицо тоже грязное. Тогда как тот, у которого грязное лицо, глядит на того, у которого чистое, и считает, что у него тоже чистое». – «О! – радуется юноша, – теперь я понял». – «Нет, это тебе кажется, что ты понял, а на самом деле ничего ты не понял. Давай еще раз: два вора лезут в дом по печной трубе. Который из них пойдет умываться?» – «Тот, у которого лицо чистое, верно?» – «Нет, опять неправильно, – отзывается раввин, – они оба пойдут умываться, потому что в печной трубе испачкаются оба. Видишь, – подводит итог раввин, – я ж говорю, ты не готов. Такие, как ты, попусту тратят время, ища ответы, а надо бы искать вопросы».

И Ленни закрыл дверь прямо у меня перед носом. Но я вернулся на следующий день, и, прежде чем он снова захлопнул дверь, крикнул:

– погоди! У меня есть вопрос!

Он уставился на меня, вскинув брови.

– С каких это пор ворам есть дело до умывания?

– Во! – Ленни улыбнулся. – Теперь это уже на что-то похоже.

Следующие полгода я приезжал на велосипеде дважды в неделю, сидел перед растопленной печкой и слушал его истории. Казалось, он знал все до единой байки на свете – включая и все анекдоты, какие рассказывал мне отец, и стоило мне заикнуться о любом, он выдавал его сам – с тремя вариациями.

Я ходил с ним на все его представления и всякий раз поражался тому, как он воздействует на публику. Ленни словно упивался их обожанием – да и моим. Называл меня своим лучшим учеником, хотя я был единственным. Однажды вечером, когда я наконец-то рассказал неизвестную ему байку, Ленни разразился долгим глубоким смехом, а потом удалился в спальню. Вернулся с большой коробкой в руках.

– Я ждал этого, – проговорил он, вручая мне коробку.

Внутри я нашел замечательную серую фетровую шляпу. Села она безупречно, и с тех пор я надевал ее на все свои концерты.

Но у Ленни имелась и темная сторона – озлобленность, которая начала просачиваться и в наши встречи. Она прорывалась неожиданно, когда я по незнанию брякал или делал что-то не то. Ленни становился едким, а иногда и враждебным. Однажды вечером он, пьяный, явился с опозданием на мой концерт в местном клубе в центре Санта-Круза. Постоял в дальнем углу зала, качая головой, и ушел раньше всех. Наутро мы увиделись у него дома, Ленни страдал от похмелья, и когда я спросил его, что он думает о моем вчерашнем выступлении, он пожал плечами.

– Что я думаю? Я думаю, что был прав. Ты не сказитель – ты просто пацан, которому нечего предъявить.

Вот спасибо-то. Я направился к двери.

– Уходишь? Вот и ладно. Возвращайся, когда у тебя будет история, достойная рассказа. Я вышел, не обернувшись, и с тех пор мы не виделись.

Приближалась отметка «два месяца», я стал одержим идеей вернуть себе голос, и по настоянию Тали начал наведываться к специалистам.

Мои голосовые связки они проверяли всеми мыслимыми способами – от старомодных ложек до высокотехнологичных зондов с лампочками. Один даже залез мне в нос резиновым шлангом. Как я и ожидал, все сошлось во мнениях с моим хирургом: в те самые два месяца после операции голос мог либо вернуться, либо нет, и ничего тут не поделаешь – только ждать.

Впрочем, согласились они и кое в чем еще. *Есть* все же человек, способный точно сказать, вернется голос или нет. Король всех знатоков, и уж так они его чтили, что произносили его имя только шепотом и писали его на оборотной стороне собственных визитных карточек. Была в самом этом имени определенная таинственность – имя длинное, восточноевропейское, нашпигованное мудреными согласными почти без всяких гласных в промежутках, произносимое слово, каким приканчивают партию в «Скрэббл». И вот этого человека мне необходимо было посетить.

– Сказитель прибыл!

Я встал с кушетки в приемной и повернулся глянуть на источник этого глубокого голоса с сильным акцентом. Король знатоков стоял передо мной, держа в одной руке кассету, которую я ему выслал, а другую протягивая мне для пожатия. Безупречный образ сумасшедшего ученого – серебристые волосы, чуть скособоченные роговые очки. Он сразу мне понравился.

– Славные истории, – сказал он, отдавая мне кассету. – Особенно байки про Хелм. Эти я не слыхал давным-давно. Давайте-ка поглядим, отыщется ли ваш голос.

Я проследовал за ним в кабинет, увешанный портретами знаменитостей, чьи голоса ему удалось вернуть, – множество фотографий. Указав мне на стул, он внимательно изучил мои больничные записи, а затем долго-долго смотрел мне в горло.

Затем еще раз глянул в мои записи и заговорил:

– Вы хотите знать, вернется ли ваш голос. И если да – когда же. Верно?

Я кивнул.

– Я вижу из ваших записей, что прошло уже два месяца.

– Только пятьдесят... семь дней.

– Восемь недель, – сказал он, – и никаких подвижек с голосовым нервом. Нехороший знак, – он умолк, покачал головой и вздохнул: – Боюсь, что нерв мертв. Он не вернется никогда. Мне жаль. Очень жаль.

Я вперился в него и ждал хоть чего-нибудь хорошего. Долго он молчал, но потом все же заговорил:

– Я понимаю, что для вас это очень тяжело. Вы сказитель, а потому, вероятно, будет легче, если вы посмотрите на все это как на байку. Что говорят нам мудрецы? – он помолчал, подняв брови. – «Голос – врата к душе». И прежде при этих вратах стояли два стражника – ваши голосовые связки. Чтобы раздался звук, им надо сойтись, как двум раввинам, спорящим о Талмуде. Но в вашем случае один ребе молчит. Почему? Хотел бы я знать, – он примолк. А затем, подавшись ко мне, прошептал: – Может, он знает какую-то тайну.

Оптимизм и пессимизм

Родина истории – Чехия



Жил-был король, и было у него два сына-близнеца. Хоть они и были похожи как две капли воды, натурами разнились, как день и ночь. Один был ответным пессимистом, другой – неисправимым оптимистом.

Когда оба подросли, король решил, что надо открыть им глаза на противоположную сторону жизни. Для этого он решил подарить обоим по особому подарку.

Подарок пессимисту он заказал у королевского ювелира.

– Я хочу, чтобы ты сделал ему часы самой тонкой работы, – велел король, – цена не имеет значения. Бриллианты, золото, самоцветы, платина – только лучшее. И чтобы все было готово ко дню его рождения.

Для оптимиста он решил добыть подарок у дворцового садовника:

– Когда проснется в свой день рождения, пусть первым делом увидит у изножья своей кровати огромную кучу конского навоза.

И вот настал день их рождения. С огромным предвкушением король отправился навещать своего сына-пессимиста. Тот сидел на кровати и угрюмо рассматривал великолепные часы.

– Как тебе подарок? – спросил король.

– Годится, – сказал пессимист. – Хотя смотрятся довольно безвкусно. Да хоть бы и со вкусом – их тогда, скорее всего, украдут, или же я их потеряю. А еще они могут разбиться...

Королю хватило всего сказанного, и он ушел к сыну-оптимисту. Тот плясал по комнате от радости. Когда король вошел, сын подбежал к нему с объятиями:

– О, спасибо тебе, отец! Как раз этого я и желал!

Оторопевший король спросил, за что сын его благодарит.

– Как за что, отец? За лошадку!



Глава 3

Оптимизм и пессимизм



«Дверь закрылась – окно откроется».

Так говаривала мама нам с братьями. Что-то подобное мамы частенько говорят, но для нашей, когда вокруг нее закрывались двери, эти слова, повторенные снова и снова, стали чем-то вроде мантры. С каждым разом она становилась все большей оптимисткой.

Они с моим отцом уехали из Кливленда ради солнечной Южной Калифорнии, где мама мечтала начать все сначала и жить своей любовью к журналистике. Настоящая корреспондентка, она обладала даром задавать правильные вопросы и слышать то, что таилось между строками в ответах. Ее навыки служили ей верой и правдой в газете «Кливленд Плейн Дилер», где она показала природное умение вытаскивать из людей их истории. Стоило маме раскопать что-нибудь, она вела историю с того самого мига, как нашла ее на улице, до следующего утра, когда газеты сходили с печатного станка.

Годы спустя отоларингологи предположили, что как раз шум печатных станков лишил ее слуха. Первые знаки приближающейся глухоты появились, еще когда мы с братьями были мальчишками: мама начала пропускать отдельные фрагменты разговора и иногда из-за этого ссорилась с отцом. Ему трудно было поворачиваться каждый раз, когда он к ней обращался, а мама насилу могла его расслышать.

– В чем дело? – кричал он. – Ты что, оглохла?

Тогда еще нет, но все к тому шло. И вместе со слухом угасала ее журналистская карьера. Для кого-то другого это стало бы страшным разочарованием, но маме удавалось видеть и светлую сторону: ей больше не придется выслушивать плохие новости.

После смерти отца глухота стала ее визитной карточкой. Она переехала в большой жилой дом в Альгамбре, к востоку от Лос-Анджелеса, и начала кампанию за права слабослышащих. Вступив в организацию под названием «Ты сам себе советчик, слабослышащий» («ТССС!»), она даже ухитрилась найти забавную сторону в потере слуха, посещая семинары вроде «Что сказать после того, как сказал: “Что ты сказал?”». Она снова начала писать статьи – для информационного листка своей организации, колонки на общие темы в местные газеты, находя людей, которые либо готовы были отвечать на ее вопросы письменно, либо отдаться мучительному процессу интервью, в котором им приходилось повторять все ответы по несколько раз. Я был предметом многих статей такого рода: «Местный юнец объезжает мир, рассказывая истории», «Имею историю – готов путешествовать»⁵, «Мой сын – сказитель».

⁵ Отсылка к названию романа Р. Хайнлайна «Имею скафандр – готов путешествовать» (1958), пер. Е. Беляевой, А. Митюшкина.

Всякий раз, записав новую подборку историй, я посылал ей копию пленки. Она усаживалась перед магнитофоном, подносила колонку как можно ближе к своему слуховому аппарату и пыталась разобрать. Я давал ей расшифровки этих записей, но она хотела именно слушать истории, и, когда ей удавалось понять несколько слов после многих упорных попыток, она сияла от гордости. Отправка для нее новых записей была исполнением моей части договора, который мы с ней высоко чтили, пусть он и оставался негласным, – то был договор о хороших новостях. Я всегда слал ей только то, что могло бы служить поводом для радости или гордости, – статьи обо мне, фотографии Тали и детей. Она же присылала мне написанные ею и опубликованные статьи вместе с вырезками из газет и журналов, содержащими «шмальцевые истории», которые, по ее мнению, вызвали бы у меня улыбку.

Думаю, что как раз поэтому я и не сказал ей про рак. У меня не было цели делать из этого тайну, но сообщать плохие новости трудно, и я не хотел ее волновать. Сначала решил подождать до операции, а потом уж рассказать ей всю историю лично, при ближайшей okazji, когда приеду выступать в Лос-Анджелесе. Но, вернувшись из больницы, я избегал ее звонков, ожидая восстановления голоса. Я много кому не перезванивал. Братья пытались разузнать, почему я ни в какую не выхожу на связь, а когда отчаялись дозвониться, стали писать мне письма. Писали друзья и поклонники, спрашивали, что со мной стряслось. Но звонки матери особенно не давали мне покоя.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.